

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

Рад приветствовать читателей нового сборника «Навстречу друг другу: Санкт-Петербург — Эстония».

В этом издании собраны авторские статьи и художественные произведения жителей как Эстонии, так и Санкт-Петербурга, посвященные тесному переплетению судеб наших народов, наших культур и истории.

Санкт-Петербург всегда был многонациональным городом — его создавали и развивали представители самых разных народов. Здесь проживали и творили видные деятели культуры, искусства, науки эстонского происхождения — они внесли свой неоценимый вклад в различные сферы жизни столицы Российской империи. Эстонская интеллигенция, обучавшаяся в учебных заведениях нашего города, обогатила культурную среду, способствовала повышению уровня духовности народа.

Если посмотреть с другой стороны, то выходцы из Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленинграда — писатели, поэты, архитекторы, ученые, инженеры — оставили свой созидательный след в истории эстонского общества и государства.

Уверен, что эта тема взаимного вклада в развитие друг друга — очень хорошее поле для исследований и повод для развития взаимных дружеских связей вопреки всем проблемам современности.

Эти народные узы живут и сегодня — жители Санкт-Петербурга с соучастием следят за жизнью и новостями нашего близкого соседа, а представители самых разных поколений Эстонии с неподдельным интересом посещают всемирно известные достопримечательности северной столицы России.

Этот сборник мы приурочили к проведению традиционных «Петербургских встреч в Таллине», которые, надеюсь, оставят у жителей самые приятные впечатления.

Искренне признателен всем авторам за участие в этом проекте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга!

Желаю всем приятного чтения!

Евгений ГРИГОРЬЕВ,
председатель Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга

Марианна СОЛОМКО

(Санкт-Петербург)

ТАЛЛИН

Таллин... Таллин! Старый город
Жив людьми, душою молод.
Тишь дворов-опочивален,
Башен, улочек, соборов —
Это Таллин!

Над собором Олевисте
Голубей взвилось монисто,
Белое перо —
Лепесток почтовой стаи.
Ветер-чтец его листает
В ритме болеро.

Сто ли верст переверстали
Мы до устали устали,
Обошли вокрут всех талий
Дивных башен и ротонд.
Под биение кроталий
Шумен, светел, музыкален —
Лишь тогда старинный Таллин
Нам открылся, словно зонт!

**Ирина
БЕЛОБРОВЦЕВА**

(Таллин)

**Аурика
МЕЙМРЕ**

(Таллин)

**«ЭСТОНСКИЙ» ПЕТЕРБУРГ:
Петербург в эстонской литературе XX века ***

В 1973 году В. Н. Топоров впервые заговорил о существовании в русской литературе особо структурированного «петербургского текста» с определенными признаками, его маркирующими. Так русское литературоведение начало осознанное изучение семиотики и мифологии города. С течением времени стало ясно, что аналогичные «городские» тексты существуют в разных литературах и культурах, причем далеко не всегда их субстратом становятся тексты о «своих» городах. Так, изображение «мировых городов» (Рим, Вавилон, Иерусалим и т. п.) во многих литературах и культурах нередко предпринималось с целью идентификации идеологических установок эстетических проблем в собственной культуре (вспомним, например, религиозно-философскую и культурную идеологему «Москва — третий Рим»).

* Настоящая статья подготовлена в рамках проекта «Эстония между Востоком и Западом: Парадигма “свой”, “другой”, “чужой”, “враг” в культурах Эстонии XX в.» (IUT18–4), при поддержке Фонда европейского регионального развития Европейского Союза (Центр исследования эстонских штудий — TAU–16078).

Для Эстонии Петербург имел большее значение, чем любой другой русский город: в начале 1860-х годов многие эстонские деятели культуры, образовавшие круг так называемых петербургских патриотов во главе с художником Йоханом Келером и литератором Карлом Робертом Якобсоном, увидели возможность национального возрождения и развития национального самосознания в освобождении народа из-под власти прибалтийских немцев. С этой целью ходоки из Эстонии дважды передавали в руки царей (Александра II — 1864 и Александра III — 1881) соответствующие прошения.

В 1960-х годах, говоря о Петербурге начала XX века, классик и идеолог эстонской литературы Фридеберт Туглас (1886–1971) с сожалением констатировал: «Эстонская петербургская колония уже не имела в эстонской национальной жизни того значения, какой имела в период пробуждения, т. е. когда только вдали от Эстонии можно было начинать что-то более смелое»^{*}.

Еще четверть века спустя, в 1986 году, литературовед и писатель Оскар Круус (1929–2007) в историческом романе «Время собирать камни», воспроизводящем события эпохи национального пробуждения второй половины XIX века, отвел особую роль художнику Йохану Келеру, который в своей петербургской квартире устроил нечто вроде центра «эстонского дела», штаба для посланцев из Эстонии, намеревающихся передать обращение императору. И в этом романе, и в некоторых других произведениях, посвященных тому же историческому периоду, роль Петербурга сведена к декорации, которая едва замечается персонажами. Во всяком случае, ателье и картины Келера описаны О. Круусом гораздо более подробно.

Присутствие Петербурга в эстонской литературе обнаруживается прежде всего в фольклоре, где город упоминается

^{*} *Friedebert, Tuglas. Mälestused. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. Lk. 253–254.* (Здесь и далее перевод с эстонского языка на русский — авторов настоящей статьи.)

чаще всего в связи с фигурой Петра Первого, который становится символом России и русского народа как победивший в Северной войне шведов и таким образом подчинивший себе Эстонию. Однако ни произведения устного народного творчества, ни эстонская литература XIX века не осмыслили облик Петербурга и его значение в жизни Эстонии (Эстляндии и северной Лифляндии) и России. Это объясняется очень поздним (по сравнению с Россией) возникновением национальной эстонской литературы, которая сформировалась только к самому началу XX века.

В это время Петербург присутствует в эстонской литературе настолько часто, что можно говорить о компенсаторном характере этой частотности: образ города развивается экстенсивно (увеличивается количество текстов, составляющих «петербургский текст») и интенсивно (воссоздается семиотика и мифология Петербурга в эстонской жизни на протяжении, по меньшей мере, трех столетий). С этого момента образ Петербурга в эстонской литературе запечатлевается в двух ипостасях: синхронно — в мемуарах, записках, дневниках путешествий и ретроспективно — в попытках осознать задним числом роль Петербурга в жизни народов, населявших Эстонию (Эстляндию и северную часть Лифляндии).

Следует сразу же отметить определенное своеобразие «петербургского текста» в эстонской литературе. В силу известной территориальной и климатической близости сходные признаки никак не проявляются. Так, писатели, сами живущие в стране многочисленных озер и болот, где через центр второго по величине города (Тарту) протекает самая полноводная река Эстонии Эмайыги и несколько крупных городов начиная со столицы расположены на том же, что и Петербург, Балтийском море, практически не фиксируют в своих произведениях и впечатлениях особенности северной столицы как морского города, расположенного на островах и построено-

го на гнилых болотах. Маркируются прежде всего различия, контрасты. Петербург возникает как феномен, созданный с помощью приема остранения, увиденный глазами «другого», «чужого». Поэтому он явлен как противоположность всему привычному и хорошо знакомому: как член оппозиции *столица — провинция, казенный — домашний, чужой — свой, холодный — теплый, перенаселенный — малолюдный*.

Любопытно, что «знакомый», «свой» полюс в подобных оппозициях может обозначать и нечто неэстонское, но уже освоенное. Так, например, поэт Хенрик Виснапуу (1890–1951) в своих эмигрантских мемуарах «Солнце и река», описывая свою поездку в Петербург, Гатчину и Царское Село летом 1914 года, определяет Петербург как «самый крупный современный город»*, который он видел. Отношение к Петербургу у эстонского писателя, скорее всего, предвзятое и заранее негативное. Об этом можно судить хотя бы по тому, что он противопоставляет ему архитектуру другого знакомого и тоже знакового для эстонца города, говоря, что современная архитектура Хельсинки «запала в память, несмотря на широкие проспекты Петербурга, Зимний и Исаакиевский собор»**.

Свое видение Петербурга, основанное в основном на символах, эстонские литераторы передают читателю по большей части уже тогда, когда он перестает быть формально их собственной столицей, т. е. уже после провозглашения независимости Эстонии в 1918 году, хотя при этом предпринимаются попытки восстановить восприятие Петербурга начала века.

Именно это делает прозаик Оскар Лутс (1887–1953) в «Королевской шапке» (1934), описывая армейскую службу молодого провизора, вследствие бюрократической оплошности оказавшегося в Петербурге 1910-х годов. В его мемуарной

* *Visnapuu, Henrik. Päike ja jõgi. Mälestusi noorusmaalt. Tallinn: Eesti Raamat, 1995. Lk. 204.*

** Там же.

повести перед читателем предстает Петербург с небольшой эстонской колонией, которая помогает «своим» освоиться в русской столице. Этому процессу способствовало полное отсутствие языкового барьера — из-за усилившейся русификации с середины 1880-х годов общеобразовательные школы в Эстонии были переведены на русский язык обучения. Тем не менее элемент остранения есть, и прежде всего он относится к расстояниям: длинные дома и большие расстояния («Да, да, Семеновский госпиталь, конечно же, находится здесь же — как же он может находиться где-то в другом месте — так, примерно километра два за углом. Идешь и идешь, а дом в центре Петербурга все не кончается и не кончается», сам «военный госпиталь кажется целым городом») и — на этом фоне транслируется прямо противоположное восприятие того же фактора пространства самими петербуржцами: «... все расстояния у русских “за углом” и рукой подать»*.

Несмотря на традиционное для русской культуры противопоставление Петербурга Москве по признаку *иностран- ный, нерусский* — *исконно русский город*, Лутс, человек другой культуры, не просто ощущает национальную принадлежность города, но даже выписывает латиницей хрестоматийную цитату: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»**.

В написанных в 1935 году воспоминаниях, продолжающих мемуарную повесть, демобилизованный Лутс едет в деревню к родителям, а затем в университетский Тарту, где он учился. Сравнение Тарту с Петербургом проведено по наиболее явному признаку: «Тарту, какой ни есть, но родной, домашний»***. Это, однако, не мешает автору уехать в Петербург, после чего он задается вопросом: «Боже мой, что же было у меня на уме, что вернулся по своей собственной воле сюда, в эту кутерьму»,

* *Luts, Oskar*. Kuningakübar. Mälestusi VIII. Tallinn: Olion, 1999. Lk. 55.

** Там же. С. 59.

*** Там же. С. 174.

где «толпы народа, визжащие голоса и режущие звоны трамвайных звонков, от которых уши вянут»^{*}.

Петербург уже не отпускает Лутса: варясь в котле большого мирового города, провинциал-провизор становится писателем. Именно здесь он чувствует, что живет: «У нас в этот час все города и городки словно полумертвые, а здесь кипит жизнь»^{**}.

Еще позже, в 1940-х годах, свои впечатления от Петербурга описывает Ф. Туглас. Отменно знающий русскую литературу, переводивший Чехова, Горького, Брюсова и др. на эстонский язык, Туглас попал в Петербург в 1906 году и, вспоминая об этом почти полвека спустя, передает свое восприятие его как «большого города», «метрополии», «искусственного города».^{***}

В отличие от Лутса, поставившего целью передать непосредственное восприятие Петербурга молодым эстонским провинциалом, Туглас анализирует «этот гигантский организм», где он скрывался от властей весной и летом 1906 года. Он отмечает наличие в городе эстонцев, но прежде всего в демографическом аспекте: «Из 1,5 миллиона жителей — 15% чужих, из них около 10% протестантов. Правда, этот чужеродный элемент ассимилировался — это были немцы, эстонцы или финны. Они образовывали иной, не чисто русский мир». Этому вторят и высказывания самих петербургских жителей: «Да что мы — питерцы! Мы гостя принять не умеем. Это не Россия. Вы поезжайте в Москву, там увидите!»^{****} Вывод, к которому приходит Туглас, совпадает с утверждениями русских культурологов, философов, литераторов: «Петербург по своему укладу отличался от России в той же мере, в какой его архитектура от остальных русских городов. В нем предполагали

* Там же. С. 195.

** Там же. С. 206.

*** *Tuglas, Friedebert. Pagulasaastad // Tuglas Fr. Mälestused. Tallinn: ERK, 1960. Lk. 253.*

**** Там же. С. 255.

нечто куда более холодное, рациональное и казенное. Это отличие давало себя знать даже в языке, так как русской разухабистости здесь препятствовали многочисленные остзейские имена и выученный по книгам или просто ломаный язык». Вывод о том, что «Петербург никакая не Россия. <... > Это уже Европа»*, кажется Тугласу несколько преувеличенным, и все же, возможно, именно приближенная к Европе сущность российской столицы стала импульсом для создания в эстонской литературе новой модели Петербурга — основанной на конвергенции, то есть на поиске в чужой столице, в чужом жизненном укладе и чужом народе «своего» компонента, «своей» роли и «своей» меры участия в петербургской жизни.

Именно поиск «своего» в «чужом», «себя» в «другом» дает наиболее интересные результаты, в то время как попытки проникнуть в сущность другого народа и объективно, с изрядной долей психологизма изобразить Петербург с русскими героями и русскими событиями оборачиваются искусственностью и литературщиной. Здесь в качестве примера можно привести повесть одного из самых талантливых прозаиков Эстонии 1920-х годов Августа Гайлита (1891–1960). Время создания его повести «Пропасть» пришлось на год 10-летнего юбилея Октябрьской революции.

Понятно, что автором двигало желание противопоставить обобществленной, коллективной Советской России трагическую судьбу обособленной личности — юной девушки, позже — молодой женщины, реализовав в определенном смысле один из вариантов известного мотива Достоевского: никакая идиллия, никакое счастье не могут быть воздвигнуты на слезинке ребенка.

Изображение Петербурга в повести следует литературной традиции. С одной стороны, Гайлит прибегает к излюбленным метафорам времен Октябрьского переворота «ветер

* Там же. С. 253.

революции», «метель» как знак восстания, мятежа, широко используемым, например, в поэме А. Блока «Двенадцать» (1918), которые затем пронизали советскую публицистику и отразились в поэме В. Маяковского «Хорошо!» (1927). Второй пласт источников составляют произведения русской литературы, в которых Гайлит мог почерпнуть сведения о страшной зиме 1918 года (представляется, что это вполне могли быть рассказы Е. Замятина «Пещера» — 1921, «Мамай» — 1920 и «Дракон» — 1918), и эстонская публицистика тех лет. Петербург изображен у Гайлита пустынным, с обледенелыми каналами и домами, с виду безжизненным: «Дома стоят гробами в ряд, заледенелые, белые, мертвые. Витрины заколочены, двери забиты досками, из окон перископами торчат жестянки труб. <... > С наступлением ночи в городе не мелькает ни одного огонька, он слеп, ужасен, только метель со свистом сгребает сугробы»*. И далее — длинные караваны врагов революции, которых по ночам выводят на казнь.

Гибель старого мира, уютного, человеколюбивого, Гайлит изображает на примере судьбы своей героини — русской дворянки, которой дает соответствующее имя — Неэди Вронская (вызывая почти обязательную ассоциацию с «Анной Карениной» Льва Толстого). У его героини расстреливают отца, мать и брата, она голодает и мерзнет, но все же ей дают уехать из России. Однако в эмиграции ее жизнь складывается не менее драматично. Заболевшая чахоткой, Неэди Вронская с большим трудом добивается разрешения вернуться на родину, ее смерть, «приуроченная» Гайлитом к 10-летию юбилею революции, символизирует полное освобождение новой России от людей прекрасного старого мира.

Повторимся — эта попытка сочувственного изображения русских людей, оставшихся без родины и обреченных на гибель, выглядит в творчестве неоромантика Гайлита чужерод-

* *Gailit, August. Ristisõitjad. Novellid. Tartu: Loodus, 1927. Lk. 177.*

ной, это вторичное произведение, написанное по правилам нормативной грамматики, с заранее заданным результатом.

В то же время произведения конвергентного характера, где просматривается намерение сквозь исторические наслоения увидеть себя в другом и другое в себе, оказались значительно более плодотворными.

Начало изображения эстонца в картине петербургской жизни в XX веке было положено иронической фразой из воспоминаний О. Лутса об эстонце, служившем царским кучером и управлявшем экипажем, в котором сидели Николай II и военный министр Сухомлинов: «Вон на какой высокий облучок эстонцы уже залезли!»*.

Атмосфера начинающегося диалога двух культур впервые возникла в эмигрантских воспоминаниях поэта Артура Адсона (1889–1977; эмигрировал в 1944 году в Швецию), где описывается эстонское местечко Тойла, сегодня известное более всего тем, что там, в эмиграции, жил Игорь Северянин. Адсон уходит в воспоминаниях вглубь времен и сообщает, что в царское время в Тойла наезжали господа из Петербурга. Этот факт пока еще не обнаруживает своего в чужом или, наоборот, чужого в своем. Однако далее приведен пример диффузии: «*Блеск Петербурга своего времени воплощал* т. н. Орусский замок в километре или полутора от села»**. Этот замок, как пишет Адсон, построил «...фруктовый купец Елисеев, у которого в своей столице был по тем временам самый роскошный магазин на Невском»***.

В романе «Русалочьи отмели» (1984) Херман Серго (1911–1989) смотрит на Петербург глазами эстонских шведов, причаливших туда на своем судне, и эстонских немцев, строящих

* *Luts, Oskar*. Kuningakübar. Mälestusi VIII. Tallinn: Olion, 1999. Lk. 161.

** *Adson, Artur*. Kadunudmaailm. Pilte kaugemast ja lähemast minevikust. Toronto: Orto, 1954. Lk. 248.

*** Там же.

этот город. Шведы воспринимают Петербург как безусловно европейский город, о чем свидетельствует хотя бы сравнение: «Ни во Фландрии, ни во Франции, ни в Англии нет таких широких дорог и улиц»*. Восхищение практической стороной жизни чужого города компенсируется иронией по адресу высокой и непонятной культуры. Летний сад описывается в традициях остранения как огромное перепаханное поле, без следа посеянной ржи, ячменя или овса, а грядки между молодыми деревцами предназначены не для брюквы или капусты, а для цветов. В то же время искусство чуждо уровню культуры рыбаков, у которых изумление вызывают «сразу несколько абсолютно голых баб из белого камня. У некоторых, да, конечно, рука или листик прикрывают то самое место, но были и с совсем голым задом <... >. И груди, конечно, тоже совсем голые». Серго с иронией описывает столкновение убогого здравого смысла с высокой культурой, причем кульминации комический эффект достигает в выводе, к которому приходят эстонские шведы: «В этом доме немного веселья и радости видят женщины от своих мужчин». Впрочем, не понимая увиденного, они признают силу искусства: «Да и захочется ли вообще мужику идти в постель к своей молодой, если он целый день пялился на эти каменные фигуры»**.

Попытка осмысления (пусть даже наивная) непривычной роскоши простирается еще дальше, причем эстонские шведы исходят из негатива: красота и блеск избыточны, следовательно, в их культивировании есть какая-нибудь задняя мысль. На их взгляд, статуи в Летнем саду можно объяснить тем, что сама Екатерина некрасива, а за величественными фонтанами прячет свое чувство неуверенности на троне Петр Первый.

Однако в этом романе, может быть, более чем анекдотический взгляд эстонских шведов на Петербург, значимо то

* *Sergo, Herman. Näkimadalad. Tallinn: Eesti Raamat, 1984. Kd. 2. Lk. 103.*

** Там же. С. 104–105.

обстоятельство, что здесь поселилась едва ли не самая грамотная женщина их села, бывшая гувернантка детей местного пастора, которая учила эстонских шведов читать и писать. Ее муж, как она гордо говорит, «...не граф и не барон. Его зовут просто Шмидт, и он умеет строить церкви»*.

В последней трети XX века трудами Яана Кросса (1920–2007) в эстонской литературе возникает еще один аспект «петербургского текста» — Петербург как фон, на котором разыгрывается драма жизни и деятельность человека из Эстонии (чаще остзейского немца). В таких его произведениях, как «Имматрикуляция Михельсона» (1971), «Раквереский роман» (1982), «Уход профессора Мартенса» (1984), «Императорский безумец» (1978), персонажами и протагонистами становятся реальные исторические фигуры — назовем лишь троих — генерал-майор Михельсон, дипломат Федор Мартенс, полковник Тимофей фон Бок прочно вписаны в историю России, однако взгляд на них автора это взгляд с другой, эстонской, стороны. И все же это далеко от ставшей привычной в последнее время модели «свой среди чужих, чужой среди своих». Станным образом в обоих пространствах своего бытия герои ощущают себя и своими и чужими одновременно, прежде всего из-за того, что сильно опережают свое время. Если же говорить о модели нарратива, то она выстраивается на процессе *о-своения*, в самом прямом смысле этого слова — включение в круг *своего*, превращение в *свое*.

Герои Кросса, каждый по-своему, вписаны в эстонскую ситуацию, осознают свою принадлежность Эстонии, даже не будучи эстонцами, и ощущают определенную двойственность своей природы, одни в большей, другие в меньшей степени. Их двойная природа подчеркнута уже тем, что названы оба варианта их имен — эстонский (или немецкий) и русский: Йохан и Иван Иванович Михельсон, Фридрих Фромгольд и

* Там же. С. 106.

Федор Федорович Мартенс, Тимотеус и Тимофей Егорович фон Бок.

Процесс освоения подчеркнут и близостью персонажей к высшим слоям русского общества. Михельсон недвусмысленно изображается как фаворит Екатерины Второй (рассматривая себя в зеркале, он отмечает: «Каверзный рот, как было сказано. Как сказала сама Катя»^{*}); дипломатическое искусство Мартенса признано Николаем Вторым (о котором сам Мартенс отзывается весьма нелицеприятно: «Эти неожиданные сердцебиения — к счастью, теперь они прошли — сперва очень меня испугали. Я отказался от всех кафедр. От университета, от Александровского лицея и от Императорского училища правоведения. Мне говорили, что Ники с этим согласился только тогда, когда его уверили, что я по-прежнему останусь в коллегии министерства иностранных дел. Это невероятно, что его императорский куриный мозг помнил о моем существовании...»^{**}).

Наконец, Тимофей фон Бок, герой романтический и в силу этого наиболее востребованный русским читателем, выступает в романе как автор первой, конечно же, неосуществленной русской конституции, за что девять лет проводит в Шлиссельбургской крепости. В границах текста говорится об особой доверительной дружбе, которая связывала его с Александром Первым, однако в послесловии Яан Кросс все-таки сообщает и о династическом праве решать судьбу отечества, которое, по всей видимости, было у его героя: «По семейным преданиям бабушка Тимо — Хелене фон Шульцце, родившаяся в Москве 12 августа 1722 года и умершая в Выйзику 14 августа 1783 года, была дочерью фрейлины Софии фон Фрик и императора Пе-

^{*} Кросс Я. Имматрикуляция Михельсона / Я. Кросс. Окна в плитняковой стене. Москва: Известия, 1975. С. 62.

^{**} Кросс Я. Уход профессора Мартенса / Я. Кросс. Раквереский роман. Уход профессора Мартенса. Москва: Сов. писатель, 1989. С. 319.

тра Великого. Из этого следует, что Тимо должен был считать себя правнуком Петра. <... > ощущая себя более прямым потомком великого представителя семьи Романовых, чем даже его родственник, император Александр I»*.

Каждого из этих персонажей с двойной природой автор заставляет проявиться и в отношении к Эстонии. Михельсона Кросс делает сыном простых эстонских крестьян, выкупленных им у помещика. Именно этим обстоятельством объясняется отчаянная рефлексия Михельсона, во-первых, на собственную роль в подавлении пугачевского бунта: «...душителем русской “сволочи” окажется лифляндская “сволочь”», и, во-вторых, при встрече с Пугачевым — «Господи Боже! Если кому-нибудь, хоть кому-нибудь во всей империи есть до него дело, то это мне!»**; «две “сволочи” смотрели одна другой в глаза. Долго»***.

Мартенс называет эстонцев «своими». Обращаясь к жене, он говорит: «Дорогая, поверь мне, я своих эстонцев знаю лучше, чем кто-нибудь другой. Это самый порядочный, самый безопасный народ. Именно в Петербурге, среди русских, в такое время можно ждать неожиданностей. От моих эстонцев — никогда в жизни...»****.

На первый взгляд, Кросс создает портрет ассимилировавшегося в русской среде человека. Хотя Мартенс знает эстонский, он «не принуждал жену» учить этот язык: «Потому что я и сам отношусь к этому языку — нет-нет, не как к пустяку, но, честно говоря, просто у меня не было времени, чтобы как-то к нему относиться»*****.

Однако у модели Яана Кросса жесткий каркас, задуманный с целью уравновешивать полюса, — эстонская сущность

* Кросс Я. Императорский безумец. Таллин: Ээсти раамат, 1987. С. 339.

** Кросс Я. Имматрикуляция Михельсона. С. 98–99.

*** Там же. С. 100.

**** Кросс Я. Уход профессора Мартенса. С. 328.

***** Там же. С. 330.

его героя вычитывается в эпизоде, где Мартенс, казалось бы, дословно воспроизводит вопросы американского журналиста: «Однако вы, будучи русским... Ах, вы не русский? Значит, вы, как немец, не правда ли... Ах, вы не немец? Кто же вы? Как? Эскимос? Нет? Эстонец? Кто это такие?». Традиционный диалог здесь был бы избыточен, и Кросс использует так называемый односторонний диалог, который обнажает всю меру непонимания человеком из страны, переваривающей все нации в едином американском котле, проблемы малого народа Российской империи. Проблемы, которую, будучи эстонцем, так остро ощущает даже дипломат самого высокого ранга, говорящий от имени России.

Фон Бок, сам не имеющий отношения к эстонцам (даже по легендам и слухам, которые Кросс нередко кладет в основу своих произведений), решает эту проблему со свойственной ему цельностью: он женится на крепостной крестьянке и выкупает ее и ее брата у хозяина. Это единственные близкие ему по духу люди — духовно Бок испытывает одиночество и в той и в другой среде.

Этот извод «петербургского текста» в эстонской литературе уже в силу того, что размывает границу между Эстонией и Петербургом, между эстонцами/остзейскими немцами и русскими, был воспринят и востребован русским читателем, оказавшись наиболее веским словом в диалоге культур. По сути, задаваясь вопросами о малой и большой родине, о болезненности самоидентификации человека, принадлежащего им обеим, о служении, противостоящем карьере, и т. д., Кросс выделяет в «петербургском тексте» эстонский сегмент, который еще ждет своего всестороннего исследования.

Сергей ТАМБИ

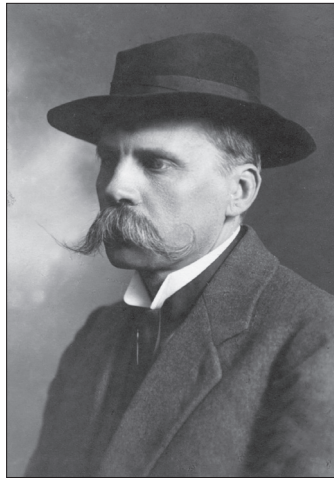
(Санкт-Петербург)

ЭСТОНЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Санкт-Петербургский университет (ныне СПбГУ) внес большой вклад в науку и культуру Эстонии, а также сыграл важнейшую роль в деле обучения представителей эстонской интеллигенции. В XIX — начале XX вв. многие эстонцы не могли себе позволить пройти обучение в Тартуском университете (процент эстонцев в нем был весьма мал, так как большинство студентов составляли дети немецких баронов), и самым удобным и доступным вариантом для многих эстонцев являлось получение знаний в Петербургском университете. В 1906–1907 учебном году в университете учились 72 эстонца, в 1911–1912 учебном году — 159 эстонцев, в 1915–1916 учебном году — 141 эстонец. В настоящей статье речь пойдет о наиболее известных эстонцах (ученых, спортсменах, политических и государственных деятелях, революционерах), связавших свою жизнь с Петербургским университетом. Список имен, приведенных ниже, можно продолжать и расширять.

Известные ученые-эстонцы обучались и преподавали в университете. Оскар Каллас (1868–1946), крупный эстонский фольклорист, один из основателей Национального музея Эстонии, работал с 1901 по 1903 год приват-доцентом кафедры срав-

нительной филологии историко-филологического факультета. Яков Карлович Пальвадре (1989–1936), окончивший ЛГУ в 1924 году, являлся командиром Эстонской стрелковой дивизии (1919–1920), специалистом в области истории революционного движения и Гражданской войны на территории Эстонии, преподавателем (1921–1925) и профессором (1927–1935) ЛГУ.



Оскар Каллас

В 1914 году университет окончил Иоганнес Лехтман (1886–1953), он был известным эстонским агрономом, депутатом Рийгикогу (1929–1932). Иоганнес Пийпер (1882–1973), окончив в 1913 году физико-математический факультет университета, стал крупным эстонским зоологом (орнитологом и специалистом по морфологии животных), основателем эстонской школы орнитологии. Занимался популяризацией охраны окружающей среды. В университете учились Самуэль Соммер (1972–1940) — специалист по эстонским поселениям России (окончил юридический факультет в 1911 году); Юри Нууты

(1892–1952) — эстонский математик, космолог, ректор Таллинского технического университета (в 1939–1941 годах; он окончил физико-математический факультет в 1914 году); Яан Дешман (1885–1970) — эстонский математик (окончил в 1912 году физико-математический факультет). В университете обучался Николай Вийтак (1896–1942) — министр дорог Эстонии (1937–1940), эстонский военный; Иоганнес Кяйс (1885–1950) — известный эстонский педагог, научный секретарь Эстонского союза учителей (окончил в 1918 году физико-математический факультет).



Ф. Ф. Мартенс

Фридрих Фромгольд Мартенс (1845–1909) окончил в 1869 году юридический факультет университета. В 1873 году он защитил докторскую диссертацию «О консулах и консульской экспедиции на Востоке». С 1876 года он являлся ординарным профессором университета, в котором работал до 1905 года. Ф. Ф. Мартенс был чиновником особых поручений при государственном канцлере А. М. Горчакове (1879), постоянным

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru